

ТЕОРЕМА
О
ПУСТОМ
ЗЕРКАЛЕ



ДЕНИС ПОЖИДАЕВ

18+

Денис Пожидаев

Теорема о пустом зеркале

<https://litres.ru/74341317>

SelfPub; 2026

Аннотация

Судебный эксперт Михаил Руднев всю жизнь устанавливал, кому принадлежит голос. Когда болезнь начинает стирать ощущение собственной жизни, он соглашается на процедуру, обещающую сохранить сознание без единого разрыва. Но чем точнее технология восстанавливает память, речь и характер, тем труднее ответить на простой вопрос: что именно делает человека собой? «Теорема о Пустом Зеркале» — напряжённая философская фантастика о непрерывности личности, цене спасения и границе, которую нельзя измерить.

Содержание

ЧАСТЬ I. НЕПРЕРЫВНОСТЬ	4
ГЛАВА 1. ЧУЖАЯ ЗАПИСЬ	4
ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ	12
ГЛАВА 3. ТЕНЕВОЙ РЕЖИМ	22
1. День первый	22
2. День седьмой	24
3. День восемнадцатый	26
4. День двадцать девятый	29
ГЛАВА 4. ЯКОРЬ	32
ГЛАВА 5. ДЕВЯТЬ СЕКУНД	40
ЧАСТЬ II. РАСХОЖДЕНИЕ	46
ГЛАВА 6. ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ	46
ГЛАВА 7. РЕЧЕВОЕ ОКНО	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Денис Пожидаев

Теорема о пустом зеркале

ЧАСТЬ I. НЕПРЕРЫВНОСТЬ

ГЛАВА 1. ЧУЖАЯ ЗАПИСЬ

Запись начиналась сухим щелчком, и Михаил успевал сжаться за долю секунды до него.

«Закключение эксперта номер четыреста семь дробь двадцать три. Фоноскопическая экспертиза. Эксперт — Руднев Михаил Андреевич».

Дело он помнил. Мужчина сорока лет отрицал, что вёл телефонный разговор, на котором держалось обвинение. Голос похож, говорил подсудимый. Интонация похожа. Слова такие, какие он мог бы сказать. Но говорил не он.

Тогда Михаилу это показалось самой слабой линией защиты из всех возможных.

«Совпадение по восьми параметрам идентификацией не является. Это не доказано».

Пауза — ровно такая, какую он оставлял всегда, чтобы секретарь успел записать ограничение.

«Однако при совокупности признаков и отсутствии аль-

тернативного источника вывод остаётся единственно допустимым: речь на записи принадлежит подсудимому».

Сначала ограничить. Потом собрать связное. Так он работал двадцать шесть лет, и суды это ценили: эксперт Руднев никогда не говорил больше, чем мог доказать, и никогда не отказывался сказать ровно столько.

Голос был его. Не похожий — его. Та же ровная подача, тот же короткий провал дыхания перед длинной фразой, та же привычка понижать тон на слове «однако». Он знал, где будет пауза, за секунду до паузы. Он знал, какое слово прозвучит следующим, и слово звучало.

Он не помнил, как это говорил.

Столешница холодила запястье. Пальцы уже вели файл по монтажным маркерам — проверка началась раньше, чем он решил проверять. Спектрограмма развернулась ровной гребёнкой. Склеек не было. Фазовых разрывов не было. Формантные переходы шли непрерывно, как идут только у живого говорящего, а не у собранного из кусков.

Запись была подлинной. Полтора года назад он подписал её сам.

Голос был его. Манера была его. Вывод был его — Михаил и сейчас считал этот вывод верным.

Отсутствовало только ощущение, что всё это когда-либо ему принадлежало.

Он откинулся и попробовал вспомнить комнату, в которой диктовал. Комната нашлась: серый стол, окно слева,

чашка с остывшим чаем, гул вентиляции над головой. Факты стояли на месте, все до одного. Не было того, что обычно приходит вместе с фактами и не имеет отдельного названия, — того, по чему человек отличает воспоминание от справки о самом себе.

Подсудимый сидел тогда в трёх метрах от него и говорил: голос мой, слова мои, но говорил не я. Михаил написал в заключении, что заявление подсудимого не имеет технического содержания.

Дыхание стало короче. Пальцы нашли кромку столешницы и прижали. Тревогу он определил позднее — когда уже успел сформулировать, что именно определяет.

Экран погас сам, и в тёмном стекле встало лицо: пятьдесят два года, узкое, ровная линия рта, седина от виска. Михаил узнал его сразу — тем же способом, каким узнал голос: по совокупности признаков, при отсутствии альтернативного источника.

Отражение вело себя обыкновенно. Моргнуло, когда моргнул он.

Михаил включил диктофон и назвал дату.

— Что сегодня ощущалось не моим?

Ответ стоял уже целиком — готовый, отредактированный, с ограничением впереди и связным объяснением следом, — раньше, чем Михаил решил отвечать.

* * *

Утром он резал сыр на кубики.

Кубики выходили одинаковыми, миллиметр в миллиметр. Это не имело значения и никогда не имело, но нож шёл по доске ровно, и от ровности становилось спокойнее.

Лидия стояла у кофеварки спиной к нему.

— Ты не спал.

— Работал.

— Ты слушал себя, — сказала она. — Через стену слышно. Одну и ту же минуту, четыре раза подряд.

Он положил нож.

— Вельский дал заключение. Четыре-семь месяцев до потери профессиональной пригодности, дальше быстрее. Субституция — единственный протокол с подтверждённой статистикой на этом диагнозе. Это не выбор между жизнью и продлением жизни. Это лечение.

Лидия поставила перед ним чашку и села напротив — села так, что стало ясно: разговор будет длиннее, чем он рассчитывал. Двадцать семь лет он умел читать это движение и ни разу не научился его предотвращать.

— Что получится в конце? — спросила она.

— Восстановление функциональной непрерывности.

— Я спросила, что получится.

— Это одно и то же.

— Нет.

Кофе был слишком горячий. Он всё равно отпил.

— Девяносто четыре процента пациентов возвращаются к профессии. Ты видела цифры.

— Я двадцать лет вынимаю из стен балки, которые заменили в тридцатых, — сказала Лидия. — Дом стоит. Дом работает. Экскурсовод говорит: здание семнадцатого века. — Она обхватила чашку ладонями. — Иногда я подписываю акт, что подлинность сохранена. Иногда — что утрачена. Разница не в том, стоит ли дом.

— Мозг не балка.

— Я знаю, — сказала она. — Балку я могу потрогать.

Он взял чашку и поставил обратно, не отпив.

— Двадцать семь лет, — сказал он, — а ты всё ещё считаешь, что если человек говорит точно, он что-то прячет.

— Двадцать семь лет, — сказала она, — а ты всё ещё считаешь, что это шутка.

Шутка была их. Ася знала её наизусть и подавала материнскую реплику раньше матери, не дожидаясь паузы. Шутка сработала. Никто не улыбнулся.

— После процедуры идёт адаптация, — начал Михаил.

— Речь, интонации, скорость реакции. Первые недели показатели плавают, это штатно. Я прошу не делать выводов по первым неделям.

— Ты просишь не это.

Большой палец левой руки прижался к суставу указательного — сам, без него. Кнопка правды: нажал — говоришь правду. Асе было девять, когда она это придумала, и она давила ему на палец под столом, пока он рассказывал, как прошёл день.

Лидия посмотрела на его руку. О руке она ничего не сказала.

— Мы это уже проходили, — сказал Михаил. — Решение тогда было принято.

— Кем.

Вопроса она из этого не сделала. Она просто положила слово на стол и оставила лежать.

— Ты опять редактируешь вопрос, — сказала Лидия. — Ответ на тот, который есть. Ты хочешь выжить — или ты хочешь, чтобы я согласилась считать тебя тобой?

Михаил молчал. Он молчал ровно столько, сколько нужно, чтобы молчание нельзя было счесть ответом, — приём, которым он пользовался в суде и который она разгадала на восьмом году брака.

— Пообещай, что узнаешь меня.

— Нет.

— Лида.

— Я не могу пообещать узнать человека, которого ещё нет, — сказала она. — Ты просишь подписать акт до реставрации.

— Ты не понимаешь, как это устроено. Там нет момента, когда меня выключают и включают кого-то другого. Там нет момента вообще. В этом весь смысл технологии.

— Тогда тебе нечего бояться, — сказала Лидия.

Она собрала посуду и остановилась у раковины. Он видел её спину, и по спине ничего нельзя было прочесть.

— Я буду приходить каждый день, — сказала она. — Я буду разговаривать с тем, кто оттуда выйдет. Столько, сколько понадобится.

В дверях она обернулась.

— Как я его назову — решу, когда услышу.

* * *

Заключение пришло днём — короткой вибрацией, без тревожного звука.

«Повторная оценка. Скорость прогрессирования превышает расчётную. Терапевтическое окно, в пределах которого континуальная нейроморфная субституция сохраняет клинический смысл, сокращается с двадцати шести недель до девяти. Рекомендуются подтвердить госпитализацию в течение сорока восьми часов».

Ни одного лишнего слова. Ни одного слова, за которое можно было бы зацепиться.

Михаил прочитал документ дважды. Второй раз — чтобы найти ошибку: натяжку, неточность, место, где составитель вышел за пределы данных. Ошибки не было. Составлено было чисто, и чистоту он отметил с профессиональным одобрением, как отметил бы чужую хорошую работу.

Палец завершил подтверждение.

Комната не изменилась. Изменилось только то, что госпитализация была назначена на четверг.

Он открыл дневник — не файл, тетрадь. Три вопроса, заведённые месяц назад, в тот день, когда он впервые не узнал

собственный почерк.

Что я решил?

Ускорить процедуру. Здесь задержки не было; рука шла.

Почему считаю решение своим?

Объяснение пришло сразу и целиком. Он хочет жить. Статистика на его стороне. Девять недель — это девять недель, и отказ Лидии дать обещание к медицинским показаниям отношения не имеет. И мы решили — он решил — не терять время.

Михаил перечитал абзац.

Слишком гладко. Ни одного шва. Ни одного места, где мысль спорит сама с собой. Так писали в заключениях, которые он много лет проверял на признаки принуждения: связно, безупречно, с одним аккуратно исключённым мотивом.

Он стёр абзац и записал:

Решение было моим. Причина пока формулируется.

Строка выглядела честной. Он перечитал её и попробовал восстановить порядок: сначала он решил ускорить, а потом увидел, что решил, — или сначала увидел себя уже решившим, а объяснение подтянулось следом.

Порядок не восстанавливался.

Третий вопрос он в тот вечер не записал.

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Датчики держались на висках не присосками, а лёгким полем, и от этого казалось, что кто-то ровно и без интереса положил ему пальцы на голову.

— Смотрите на экран, — сказал Вельский. — Не отвечайте. Просто смотрите.

На матовой панели пошли фотографии. Улица, где Михаил вырос. Аудитория, в которой он двенадцать лет читал курс. Кухонный стол, снятый Лидией позапрошлой весной, с его чашкой и её очками на раскрытой папке.

Под каждой фотографией поднимались и опадали три полосы.

— Первая — узнавание, — сказал Вельский. — Вторая — телесный отклик. Третья — присвоение: отметка «это моё». У здорового человека все три идут вместе, разброс в сотые доли секунды.

Первая полоса взлетала мгновенно, вторая шла следом, чуть медленнее. Третья опаздывала: на кухонной фотографии она поднялась только через полторы секунды и до верха не дошла.

— Факты вы держите, — сказал Вельский. — Держите отлично, лучше многих здоровых. Разрушается не хранение. Разрушается принадлежность.

Михаил сложил руки и подождал, пока полосы на экране опадут до нуля.

— Принадлежность — не медицинский термин. Определите операционально, иначе мы обсуждаем ощущение.

— Хорошо. — Вельский не стал спорить. — Операционально: интервал между узнаванием и присвоением. У вас он рос восемь месяцев. Сто миллисекунд. Четыреста. Сейчас — тысяча четыреста. И растёт быстрее, чем рос.

— Корреляция с показателем, который выбрали вы сами. Причинная связь не доказана.

Пауза.

— Но если исходить из того, что мы знаем, других объяснений сопоставимой силы нет.

Вельский посмотрел на него дольше, чем требовалось.

— Михаил Андреевич. Вы сейчас проводите экспертизу по делу, в котором являетесь потерпевшим.

— Я провожу её лучше, чем кто-либо в этой комнате.

— Не сомневаюсь, — сказал Вельский. — Это тоже симптом.

Лидия сидела у стены, не вмешиваясь. Пальто она так и не сняла.

— В феврале ты рассказал мне про Вильнюс, — сказала она. — Подробно. Дождь, гостиница, разговор с коллегой в лифте.

— Помню.

— Ты рассказывал в третьем лице.

Михаил повернулся к ней.

— Этого не было.

— Полторы минуты. Потом поправился. — Она смотрела не на него, а на экран. — Я решила, что ты устал.

Дыхание изменилось раньше, чем он успел решить, как к этому относиться. Пальцы нашли подлокотник и прижали.

— Существует известный нарративный феномен, при котором дистанцированная перспектива, — начал Михаил и услышал, что говорит языком заключения.

Он остановился, и в кабинете стало слышно, как работает вентиляция.

— Скажите прогноз, — сказал он. — Полностью. Без смягчения.

Вельский погасил экран.

— Четыре-семь месяцев до потери профессиональной пригодности: вы перестанете отличать собственное суждение от заимствованного, а это ваша работа. Год-полтора — до утраты способности вести дела. Дальше начинается то, ради чего вы здесь.

— Что именно.

— Вы потеряете не факты, — сказал Вельский. — Сначала вы потеряете возможность без усилия считать их своей жизнью. Вы будете знать, что её зовут Лидия. Вы будете знать, что вы женаты двадцать семь лет, и сможете это перечислить. — Он снял датчики, аккуратно, по одному. — Вы не будете понимать, почему её присутствие в комнате долж-

но что-нибудь для вас значить.

В кабинете было сухо и тепло.

Лидия не двинулась.

— Решение будет принято сегодня, — сказал Михаил.

Он собирался сказать: я решу сегодня.

* * *

В демонстрационной не было ни голограмм, ни подсветки. Посреди комнаты на столе лежала модель — не мозг, а что-то вроде схемы водопровода: узлы, перемычки, цветные линии нагрузки.

Софья Ланская была моложе его лет на десять и заговорила так, будто продолжала фразу, начатую до его прихода.

— Спрашивайте. Вельский предупредил, что вы будете спрашивать.

— Где момент переноса?

— Его нет.

— Тогда сформулируйте, что вы делаете.

Ланская коснулась одного узла. Узел подсветился и потянул за собой соседние.

— Мы не заменяем нейроны по одному. Мы заменяем нейрофункциональные домены — ансамбли, которые делают работу. Синтетический домен подключается параллельно живому и учится. Сначала он молчит и предсказывает. Потом предсказывает точно. Потом мы позволяем ему нести часть нагрузки. Живая ткань остаётся на месте. Она просто перестаёт быть причиной вашего поведения.

— Сколько это длится?

— Тридцать два — сорок дней. Проценты, которые вы увидите на интерфейсе, — не доля удалённой ткани. Ткань никуда не девается. Это причинная нагрузка: сколько ваших решений на самом деле возникает в синтетическом контуре.

— Значит, есть день, когда большинство решений принимает уже не биология.

— Есть, — сказала Ланская. — И вы его не заметите. Это единственное, что я могу вам честно обещать. Вы ничего не заметите.

Михаил обошёл стол и остановился с той стороны, откуда схема читалась вверх ногами.

— Резервная копия.

— Нет.

— Технически вы держите полную функциональную модель. Снимите слепок и положите в сейф.

— Снимем, — сказала Ланская, — и получим ветвь. Две системы, одинаково помнящие вашу жизнь. Обе уверены, что они — вы. Обе правы ровно в одинаковой степени. Право признаёт одну. — Она посмотрела на него без нажима. — Резерва нет не потому, что нельзя сделать. Потому что потом нельзя выбрать.

— Вернер, — сказал Михаил.

— Вы читали.

— Популярную версию. Если две личности помнят одну жизнь, ни одна не докажет, что прожила её первой.

— Неточно, но направление верное. У Вернер суше. — Ланская произнесла это ровно, как цитируют формулу, которую знают наизусть и давно перестали пугаться: — При ветвящейся причинной непрерывности интроспекция не способна установить исключительную личную идентичность.

— Изнутри не проверить.

— Изнутри не проверить. Снаружи тем более.

Михаил помолчал, перебирая в уме способы, которыми он двадцать шесть лет устанавливал авторство чужой речи, и не нашёл ни одного, который работал бы здесь.

— Тогда что вы гарантируете?

— Что не будет разрыва. Ни одной секунды, в которой никого нет. Мы гарантируем непрерывность процесса. — Она убрала руку от модели. — Вы хотите, чтобы я гарантировала непрерывность владельца. Такого прибора нет ни у нас, ни у кого-либо ещё.

Вельский, стоявший у двери, шевельнулся.

— Софья Аркадьевна.

— Он эксперт, — сказала она, не оборачиваясь. — Он найдёт это в документах через час.

Она вернула модель в исходное состояние. По схеме прошла тонкая линия, стянувшая узлы в одно.

— Контур монолинейности. КМЛ. Во время процедуры биологическая и синтетическая части какое-то время строят чуть разные интерпретации происходящего. Разные предсказания. Разные версии того, что вы сейчас делаете и по-

чему. Контур держит их в одном описании: один приоритет внимания, одна внутренняя речь, одно «я».

— Как он это делает?

— Выбирает наиболее устойчивую версию, — сказала Ланская. — И подавляет конкурирующую.

Михаил услышал, как фраза сама раскладывается у него в голове на то, что сказано, и то, что сказано между. Двадцать шесть лет он занимался только этим.

— Подождите. Подавляет конкурирующее самописание.

— Да.

— Зачем системе, в которой есть один человек, контур, подавляющий конкурирующие самописания?

Ланская ответила не сразу — не потому, что подбирала слова, а потому, что решала, стоит ли отвечать полностью.

— Затем, что мозг производит их постоянно и без нас, — сказала она. — Вы просто ни разу не слышали проигравших.

* * *

Планшет был гладкий и тёплый. Стилус шёл по нему с едва заметным сопротивлением, как по бумаге. Сопротивление добавили специально; Михаил это знал.

Он читал сорок минут. Координатор ждал у окна, не торопя.

Пункт 9.4 стоял между порядком обезболивания и порядком хранения биологического материала.

При возникновении конкурирующих когнитивных процессов медицинский оператор вправе восстановить единый про-

филь личности посредством интеграции, ограничения или прекращения активности несогласованного контура.

— Что такое конкурирующий когнитивный процесс, — сказал Михаил.

— Устойчивое расхождение между контурами. Сбой синхронизации.

— Он может говорить?

Координатор посмотрел в свой экран, хотя ответа там не было.

— Контур способен генерировать речь от первого лица. Это не означает наличия субъекта. Первое лицо — грамматическая форма. Ваш автомобиль тоже говорит «я не нашёл маршрут».

— Мой автомобиль не помнит мою дочь.

В палате было тихо, и тишина эта была отрегулирована так же, как сопротивление стилуса.

Лидия сидела у стены, всё так же в пальто.

— Такое уже случилось? — спросила она.

— «Эхо перехода», — сказал координатор с готовностью человека, которому этот вопрос задают каждый раз. — Частый побочный эффект. Пациент слышит собственную мысль с чужой интонацией. Ощущает возражение. Иногда получает вторую версию воспоминания. Фиксируется примерно у каждого четвёртого. Проходит за несколько дней.

— Что вы делаете с эхом?

— Ничего. Оно затихает.

— А если не затихает?

Координатор указал стилусом на пункт 9.4.

Михаил перелистнул назад, к разделу об отзыве согласия, который читал уже дважды.

— Отзыв согласия. Пункт двенадцать. Пациент вправе отозвать согласие на любом этапе.

— Верно.

— На любом — включая этап, где расхождение уже возникло?

— Да.

— Кто отзывает?

Координатор не понял.

— Вы. Пациент.

— Который, — сказал Михаил.

Пауза длилась ровно столько, сколько нужно, чтобы стало ясно: такого вопроса в процедуре нет.

— Пациент один, — сказал координатор.

Лидия встала, и стул за ней не издал ни звука.

— Почему в договоре заранее написано, что несогласованным окажется контур? — спросила она. — Почему не человек?

Координатор ответил вежливо и совершенно точно:

— Потому что человек — это тот, кто подписал согласие.

Михаил услышал, как Лидия набрала воздуха и ничего не сказала.

Он подписал.

Стилус прошёл по планшету и завершил росчерк — длинный, с петлёй в конце, каким он подписывал заключения двадцать шесть лет. Подпись легла идеально. Ровный нажим, чистая линия, ни одного дрожания.

Михаил посмотрел на неё.

Он помнил начало движения. Он помнил готовую подпись. Последней доли между ними не было — не провал, не темнота, а просто отсутствие места, в котором он мог бы себя застать.

— Принято, — сказал спокойный голос системы. — Госпитализация подтверждена.

Лидия подошла и посмотрела на экран через его плечо.

— Ровная, — сказала она. — У тебя всегда дрожал конец.

Она не отходила от планшета ещё несколько секунд.

ГЛАВА 3. ТЕНЕВОЙ РЕЖИМ

1. День первый

Интерфейсная жидкость была холоднее, чем он ожидал, и холод шёл не по коже, а под ней — узкой полосой вдоль виска, как проведённая изнутри линия.

— Считайте вслух от ста, — сказал Вельский. — Через семь.

— Сто. Девяносто три. Восемьдесят шесть.

— Хорошо. Не останавливайтесь.

Он не останавливался. Ничего не происходило.

Он ждал провала, темноты, шва — того момента, о котором Ланская сказала, что его не будет. Момента не было. Была палата, ровный медицинский шум, запах стерильного текстиля, собственный голос, называющий числа.

— Семьдесят два.

— Семьдесят девять, — сказал Вельский.

— Что?

— Вы пропустили семьдесят девять. Не важно. Продолжайте.

Михаил продолжил, и вот тогда это началось — не событие, а свойство.

Он подумал: мне нужно сказать им, что покалывания нет,

есть задержка между прикосновением простыни к запястью и тем мигом, когда я это прикосновение замечаю, — и обнаружил, что фраза уже готова. Целиком. С придаточным. С уточнением в конце.

Она не звучала чужим голосом. Она не звучала вообще. Она просто была — законченная, отредактированная, лежащая наготове раньше, чем он решил, что думает именно это.

Михаил попробовал её задержать. Не произносить. Подождать и посмотреть, что будет.

Фраза ждала вместе с ним, спокойно, как ждёт готовый ответ, которому некуда торопиться.

— Опишите ощущения, — сказал Вельский.

— Задержка между тактильным сигналом и его осознанием. Порядка двухсот миллисекунд, оценка грубая. Никакой боли. Никакого постороннего присутствия.

— Точная формулировка, — заметила Ланская от терминала.

— Я эксперт.

— Вы очень быстрый эксперт, — сказала она, не поднимая головы. — Теневое соответствие девяносто один. На первый день это много.

Вельский подошёл ближе.

— Страшно?

— Нет, — сказал Михаил.

Он ответил сразу и честно: страха не было. Он проверил, прежде чем ответить, — так, как проверял бы чужое утвер-

ждение.

Ланская посмотрела на экран, потом на него, и ничего не сказала.

Позже, когда все ушли и свет опустили до ночного, Михаил вспомнил, что не спросил, что показал прибор.

Он не стал спрашивать и на следующий день.

* * *

2. День седьмой

На седьмой день вернулся запах.

Не то чтобы он исчезал — Михаил просто перестал замечать, что еда пахнет; последние месяцы всё было равномерно тёплым и никаким. Теперь бульон, который Лидия принесла из дому в термосе, пах курицей, сельдереем и жестью крышки, и все три запаха были отдельные.

— Хороший, — сказал он. — Пересолила.

— На два грамма.

— На три.

Тест утром он прошёл за одиннадцать минут вместо семнадцати. Ланская показала кривую: интервал между узнаванием и присвоением упал до трёхсот миллисекунд. Три недели назад было тысяча четыреста.

Он помнил. Он не просто помнил — он владел тем, что помнил, и от этого хотелось смеяться.

Лидия сидела на краю кровати. Ладонь она положила на

покрывало, не на его руку.

— Тебе звонил Горецкий, — сказала она. — Не дозвонился.

— Из института?

— Не знаю, откуда.

— Из института, — сказал Михаил. — Он передал через Веру.

Он услышал себя и остановился.

Вера. Вера — секретарь Горецкого, он не думал о ней лет пять. Имя пришло раньше, чем воспоминание о том, откуда он его знает; сначала имя, потом источник, а не наоборот.

— Что? — спросила Лидия.

— Ничего. Вспомнил фамилию, которую не должен был вспомнить.

Она улыбнулась.

Он рассказал ей про соседа по коридору — старика после инсульта, который каждое утро здоровается с автоматом для воды. Рассказал коротко, без нажима, и в самом конце добавил одну фразу — не жестокую, не остроумную, а ровно такую, чтобы стало грустно и смешно одновременно, и грустно чуть больше.

Лидия засмеялась. Засмеялась по-настоящему, откинув голову, как смеялась когда-то на кухне, когда Ася подавала за неё реплику.

— Господи, — сказала она, вытирая глаза. — Ты...

Она остановилась.

Слово, которое она не сказала, предполагало, что он куда-то уходил.

Михаил лежал и смотрел, как она собирает термос, и думал о том, что шутка пришла сразу в законченном виде — не как две-три возможности, из которых он выбрал, а как одна, наилучшая, уже подогнанная к ней. К её усталости. К тому, что она с утра не ела. К тому, что ей нужно было засмеяться именно сейчас.

Он подумал: значит, я поправляюсь.

Мысль тоже пришла готовой.

* * *

3. День восемнадцатый

— Автобиографическая калибровка, — сказала Ланская. — Мы даём контуру интеграции материал, по которому он учится опознавать значимое. Всё, что вы сейчас услышите, останется вашим. Просто оно станет доступнее.

— Что именно вы даёте?

— То, что дала ваша жена.

Лидия сидела рядом. Пальто она сняла — впервые за восемнадцать дней.

Запись пошла со слабым щелчком, и Михаил снова сжался за долю секунды до него.

Дом. Кухня. Звякает ложка о край чашки, где-то бежит вода, и голос Аси — не торжественный, не последний, а

обыкновенный, с набитым ртом, девятнадцатилетний:

— Пап, а если я тебе просто пришлю запись — ты поймёшь, что это я?

— Пойму.

— А как?

— По совокупности признаков.

Пауза. Потом Ася захохотала — коротко, некрасиво, счастливо.

— Мам! Мам, он сказал «по совокупности признаков»!

Смеялась Лидия. Смеялся он сам, на записи, отставленно, сухо, довольный собой.

Михаил знал следующую фразу за полсекунды до неё.

«А если не совокупность? Если один признак не сойдётся?»

«Тогда я скажу, что не могу дать заключение».

«Пап. Ты бы про меня не смог дать заключение?»

Тело ответило раньше него. Мышцы живота стянуло, дыхание вышло не до конца, во рту появился металлический привкус — тонкий, холодный, под языком, будто он прикусил проволоку. Пальцы собрали покрывало в горсть.

Только потом, секунды через три, пришло слово. Слово было «горе», и оно было точным, и вместе со словом пришло объяснение — связное, полное, готовое к употреблению: он потерял дочь, он не успел ответить ей тогда как отец, он ответил как эксперт, и она смеялась, и он думал, что времени много.

Объяснение было безупречным.

Оно пришло вторым.

— Дальше она сказала: «Ужас, какой ты зануда», — произнёс Михаил вслух. — С ударением на «ужас». Она тянула первый слог.

И он повторил интонацию. Точно. Так, что Лидия вздрогнула.

Запись действительно сказала: «Ужас, какой ты зану-уда».

Лидия не смотрела на экран. Она смотрела на мужа.

— Ты помнишь, во что она была одета? — спросила она.

Михаил открыл рот.

Он помнил слова. Все, до одного, включая те, что ещё не прозвучали. Он помнил, где стояла чашка. Он не помнил, во что она была одета, и не помнил, была ли открыта форточка, и не помнил, тёплый ли был в тот вечер воздух.

— Не помню, — сказал он. — Но это несущественная деталь.

— Раньше ты в этом месте замолкал, — сказала Лидия.

— Раньше я не мог говорить об этом вообще. Теперь могу. Это и называется улучшением.

Она кивнула. Она ещё не решила, что из этого было выздоровлением.

На терминале Ланской поднялось уведомление, и Ланская прочитала его вслух — ровно, без выражения, как читают строку протокола:

— «Обнаружен материал высокой автобиографической

значимости. Включить в основной набор якорей?»

Она посмотрела на Михаила.

— Это ваше решение.

— Включайте, — сказал он.

* * *

4. День двадцать девятый

Лента интерфейса давила на затылок ровно и не мешала. Во рту было сухо. Пятьдесят один процент причинной нагрузки система показывала со вчерашнего вечера — цифра стояла в углу экрана и не менялась.

— Последний блок, — сказала Ланская. — Вопрос длинный. Не торопитесь.

— Не буду.

— Представьте, что вам предъявили две записи одного человека, сделанные с разницей в двадцать лет. Формантные характеристики разошлись, темп изменился, лексика другая. Какой признак вы будете считать...

— Ритмическую структуру пауз, — сказал Михаил.

Ланская остановилась на середине слова.

— ...устойчивым, — договорила она. — Да. Правильный ответ.

— Я понял направление вопроса.

— Вы ответили на тысяча сто миллисекунд раньше, чем я произнесла «устойчивым».

— Я двадцать шесть лет отвечаю на этот вопрос. Прогнозирование — не патология. Это опыт.

Ланская не спорила. Она развернула к нему боковой экран, и Михаил увидел две дорожки.

Верхняя — активность зоны фиксации намерения. Нижняя — формирование речевой формы.

Нижняя поднималась первой.

Разрыв составлял четыреста миллисекунд, и в этих четырёхстах миллисекундах фраза «ритмическую структуру пауз» уже существовала — законченная, готовая, — а решения её сказать ещё не было.

— Это нормально? — спросил Михаил.

— В теновом режиме — да, — сказала Ланская. — Контур монолинейности сводит порядок обратно. Вы этого не чувствуете, потому что он для того и работает.

— То есть я чувствую то, что он мне разрешает чувствовать.

— Вы чувствуете то, что происходит, — сказала она, — в том порядке, в каком человеку удобно это считать своим.

Он попросил дневник.

Тетрадь ему не дали — на двадцать девятый день писать от руки было уже неудобно, лента интерфейса меняла тонус кисти, — и он диктовал.

Что я решил?

— Мы решили продолжить.

Пауза.

Он услышал это через полсекунды после того, как система записала.

— Исправить, — сказал Михаил. — Я решил продолжить.

Строка изменилась одним касанием. Первая версия исчезла, как исчезает всё, что не было сохранено.

Михаил перечитал обе.

Он перечитывал их дольше, чем следовало, и в какой-то момент поймал себя на неприятной, отчётливой, совершенно ясной мысли.

Первый вариант был точнее.

ГЛАВА 4. ЯКОРЬ

Тридцатый день начался с того, что охлаждение зазвучало иначе.

Михаил лежал в кресле и слушал: тон стал ниже на полтона, и в нём появилось усилие. Затылок грелся, и правая рука казалась тяжелее левой — не онемевшей, а именно тяжёлой, будто её положили на стол и он забыл, что может её поднять.

На боковом экране стояла цифра.

51 %

— Половина, — сказала Лидия.

Она пришла в восемь, как приходила все двадцать девять дней, и села так, чтобы видеть и его, и экран.

— Не половина, — сказала Ланская, не оборачиваясь.

— Там написано пятьдесят один.

— Там написано, что матрица несёт чуть больше половины текущей причинной нагрузки. — Ланская развернулась к ней вместе с креслом. — Это не доля удалённой ткани. Ткань на месте. Вся. Мы ничего не вырезали и не вырежем.

— Тогда что означает цифра?

— Что из ста решений, которые он сейчас принимает, пятьдесят одно возникает в синтетическом контуре. — Ланская сказала это ровно, без нажима, и добавила: — Это не линия, по которой можно разрезать человека. По ней вообще ничего нельзя разрезать.

Лидия молчала, а Михаил смотрел на цифру и думал, что за двадцать шесть лет научился слышать, когда человек говорит правду, которая ему самому не нравится.

Ланская говорила правду.

На главном экране дрогнула вторая величина.

— ИМЛ восемьдесят два, — сказала Ланская. — Было девяносто четыре.

Вельский подошёл к экрану, посмотрел, ничего не сказал и посмотрел ещё раз.

— Пауза, — сказал он. — Двое суток. Стабилизируем и продолжим.

— Нельзя, — сказала Ланская.

— Объясните.

— Биологические домены уже работают на синтетической поддержке. Не рядом с ней — на ней. Регуляция сна, тонус, часть речевого доступа. Если мы сейчас снимем нагрузку с матрицы, они не вернутся к прежней автономии за двое суток. Они не вернутся к ней вообще. — Она вывела схему; линии шли в обе стороны. — И наоборот. Синтетические домены держатся на биологических сигналах: боль, сытость, страх, вестибулярный вход. Разъединять это уже не «откат». Это две реанимации сразу.

— Значит, движение только вперёд, — сказал Вельский.

— Движение вперёд — это не значит быстро.

Михаил слушал их и чувствовал, как поднимается злость, а следом за злостью — совершенно готовая, гладкая, убедитель-

тельная аргументация.

— Двое суток паузы стоят мне двух суток, — сказал он. — У меня их не так много. Индекс упал на двенадцать пунктов, а не на пятьдесят. Вы сами говорили, что расхождения в этом диапазоне штатны. Я прошёл двадцать девять дней. Я хочу закончить.

Он услышал собственный голос со стороны и отметил: слишком связно. Ни одной паузы. Ни одного «допустим».

Мысль прошла и не задержалась.

Вельский смотрел на него долго.

— Ограниченный этап, — сказал он наконец. — Один якорный блок. Без расширения. При падении ИМЛ ниже семидесяти пяти — остановка немедленно, без обсуждения.

— Согласен.

Ланская подняла со стола планшет.

— Тогда предупреждаю сразу. — Она говорила, глядя в список. — Следующий якорь — самый нестабильный участок вашей автобиографической интеграции. По разбросу он худший из всех, что у нас есть.

— Какой именно?

Ланская назвала.

* * *

— Читайте вы, — сказала Ланская. — Ему нужен ваш голос, не запись.

Лидия взяла карточку.

Она не спросила, зачем. Она не спросила, обязательно ли.

Она села так, чтобы он видел её лицо, и прочитала — ровно, без дрожи, без нажима, тем голосом, которым она двадцать лет читала вслух акты приёмки:

— «Если я когда-нибудь совсем перестану вас узнавать, не держите меня ради себя».

Кресло было тёплым, и пульс шёл в кончиках пальцев, ровный и слышимый.

— Так, — сказала Ланская. — Теперь скажите, что это значит.

— Это было сказано за одиннадцать месяцев до аварии, — начал Михаил. — В бытовом контексте, при обсуждении статьи о паллиативной помощи. Ася не имела в виду конкретную ситуацию и не могла её предвидеть. Тем не менее формулировка достаточно определённа, чтобы считать её выражением воли. Позднее, при отсутствии положительной динамики на сорок седьмые сутки и при отсутствии признаков устойчивого контакта, решение было принято в соответствии с этой волей.

Он говорил спокойно и точно, и всё, что он говорил, было правдой — от первого слова до последнего.

Ланская что-то отметила в планшете.

— Хорошо. Достаточно.

— А ты чего хотел? — спросила Лидия.

Ланская подняла голову.

— Это вне протокола.

— Я знаю, — сказала Лидия. Она не отводила глаз от му-

жа. — Ты сказал, чего хотела она. Я спрашиваю, чего хотел ты.

— Исполнить её волю, — сказал Михаил.

Он ответил сразу. Слишком сразу — быстрее, чем успел проверить, сколько в этом ответа и сколько формулы.

И тело ответило отдельно.

Живот стянуло, и кисть попыталась сжаться и не сжалась до конца: пальцы дошли до половины и встали, будто их держали. Под языком стало холодно, и появился металлический привкус, тонкий, знакомый по восемнадцатому дню.

В виске поднялось давление.

Внутри что-то возразило.

Не голосом и не словами: возражение было чистой формы — как бывает, когда знаешь, что собеседник неправ, ещё не понимая, в чём именно, и уже не можешь его слушать. Оно было направленным. Оно было последовательным. Оно относилось к его собственному ответу.

Дыхание при этом оставалось ровным — слишком ровным, и Михаил, заметив это, понял, что дышит не он.

— Пульс сто четыре, — сказал Вельский. — Речевая поддержка плюс двадцать.

— Вижу, — сказала Ланская.

— Мне нужно уточнить ответ, — сказал Михаил.

— Не нужно, — сказал Вельский. — Лежите.

Но фраза уже начиналась — внутри, помимо него, и она начиналась не с тех слов, которые он произнёс вслух.

* * *

На экране Ланской развернулись две дорожки.

Обе были помечены как «мотив: решение по А. М. Рудневой». Обе были непротиворечивы. Обе опирались на одну и ту же память.

Первая: *исполнил её волю.*

Вторая: *не смог смотреть.*

— Конфликт интерпретаций, — прочитала Ланская вслух. — Устойчивость первой шестьдесят три, второй пятьдесят восемь.

Система, не дожидаясь, вывела рекомендацию — тем же спокойным шрифтом, каким выводила всё остальное:

Подавить менее устойчивую интерпретацию. Восстановить единый профиль.

Палец Ланской завис над подтверждением.

— Нет, — сказал Вельский.

— Александр Ильич...

— Разница пять пунктов. — Он не повысил голос. — Пять. При таком разбросе я не знаю, какую из них мы подавим. И вы не знаете.

— КМЛ знает.

— КМЛ знает, какая устойчивее. Это не то же самое.

Ланская убрала руку.

— Тогда расширенная конвергенция, — сказала она. — Мы не подавляем ничего. Мы удерживаем оба маршрута в согласовании и даём им сойтись самим. Двенадцать минут.

Он всё это время будет в сознании и в речи.

— Риск?

— Нагрузка на биологический контур. Он сейчас на пределе.

— Он тридцать дней на пределе, — сказал Михаил.

Оба посмотрели на него.

— Я согласен, — сказал он. — Делайте.

Охлаждение ускорилося — едва слышно, на четверть тона. Голову мягко зафиксировали. Пульс стучал в подушечках пальцев, отдельно от него, как чужой.

Лидия наклонилась ближе. Из всех звуков комнаты её голос был ближе остальных.

— Миша.

— Да.

— Ты не ответил, — сказала она. — Ты сказал, что исполнил её волю. Я двадцать лет живу с человеком, который умеет говорить правду так, чтобы она ничего не значила. — Она помолчала. — Скажи просто. Почему ты это сделал.

Двенадцать минут только начались.

Михаил открыл рот, и мысль пошла — целая, единая, ещё ничья, последняя, которую он додумывал один.

Я сделал это потому, что...

Дальше было два окончания.

Они не спорили. Они не звучали. У них не было голосов, и ни одно из них не казалось чужим — оба были его, оба продолжали одну и ту же жизнь, и оба были готовы, и он не

мог выбрать, потому что выбирать было нечем: то, чем он выбирал, само разошлось надвое.

Тон охлаждения упал.

Свет в комнате остался прежним.

Система, не издав ни звука, перераспределила глобальный доступ.

ГЛАВА 5. ДЕВЯТЬ СЕКУНД

Я сделал это потому, что...

Дальше надо было выбрать, и он выбрал — так же, как выбирал всегда: взял ту версию, которая была связнее.

Она пришла целиком. Кухня, статья о паллиативной помощи, голос дочери, слова про «не держите меня ради себя», сорок семь дней, врачи, не говорившие ничего определённого, и он, сделавший единственное, что оставалось сделать: исполнивший её волю. Версия была полной, без единого шва, и добавить к ней было нечего.

Гортань напряглась.

Он собрался говорить и обнаружил, что говорить трудно — не от волнения: мышцы шеи держали слово так, как держат дверь.

— Миша, — сказала Лидия.

Её голос был ближе всех остальных звуков. Белый свет не изменился. Звук потерял глубину, будто комнату отодвинули на полшага.

Михаил попробовал разжать челюсть.

Тело возражало. Оно возражало не против речи вообще — против этой речи, против этой версии, и возражало последовательно, как возражает человек, который знает, где именно ложь.

Нет.

Не слово. Форма без слова.

Он подумал: это спазм. Он подумал: сейчас пройдёт. Обе мысли были его, обе пришли готовыми, обе успокаивали, и он принял их, потому что они успокаивали.

Очень далеко и очень близко система искала приоритет.

Пальцы левой руки начали сжиматься и не сжались.

— Индекс шестьдесят девять, — сказал Вельский откуда-то сбоку. — Софья.

— Вижу.

Ответ был готов. Ответ был выбран.

Михаил открыл рот, и голос пошёл — ровно, спокойно, с той самой интонацией, какую он ставил в суде, — и в эту секунду он не успел заметить только одного:

кем.

* * *

— Она просила нас не удерживать её, — сказал Михаил.

Голос вышел ровным. Он слышал его отчётливо, слышал каждое слово, и каждое слово было тем, что он хотел сказать.

Лидия смотрела ему в лицо.

Звук в комнате стал плоским — не тише, а именно плоским, будто из него убрали расстояние. Экран, Вельский, спина Ланской, край простыни: всё оставалось на месте, всё было видно, ничего не гасло.

Металлический привкус стоял под языком и усиливался.

— Она сказала это не про больницу, — продолжал он. — Она сказала это про себя. Мы не имели права держать её

ради того, чтобы нам было легче.

Он говорил и слышал, как говорит: как дыхание встаёт под фразу, как язык находит согласные. Это было его дыхание. Это была его фраза.

И одновременно внутри шло другое.

Не голос — обрывок. Начало чего-то, что не имело права начинаться сейчас, посреди ответа, и всё-таки начиналось:

...я больше не мог ждать.

Михаил отметил это, как отмечают помеху на записи. Артефакт. Наложение. У него нарушена связь между эмоцией и биографическим объяснением, Вельский показывал графики, третья полоса опаздывает, — вот и всё, что это значит.

Правая рука пошла вверх.

Он её не поднимал. Он этого не хотел и не решал; рука пошла сама, медленно, к его собственному горлу, и остановилась на середине пути.

Мышца напряглась в двух направлениях сразу.

— Пульс сто сорок, — сказал Вельский.

— Продолжайте, — сказал Михаил.

Он сказал это врачам и сказал это себе.

За глазами поднялось давление.

Он договорил. Договорил до конца, ровно, не сбившись, глядя Лидии в лицо, — и когда последнее слово вышло, комната вернула себе глубину: звук снова стал объёмным, свет прежним, привкус ушёл.

Стало тихо.

И в этой тишине, внутри, в том самом месте, где всю его жизнь помещалось только одно, — ясно, отчётливо, без единой дрожи прозвучало несогласие.

Оно было полным. Оно относилось к тому, что он только что сказал. Оно было умным: оно знало, что именно он исключил.

И оно не ощущалось его.

* * *

— Как вы себя чувствуете? — спросил Вельский.

— Нормально, — сказал Михаил.

Нет.

Он услышал это так же ясно, как услышал собственный ответ, и с той же стороны — изнутри. Разницы не было никакой.

Это и было самым скверным. Разницы не было никакой.

— Головокружение? Тошнота?

— Нет.

Скажи ему про руку.

— Всё в порядке, — сказал Михаил.

Вельский стоял очень близко.

— Поднимите правую руку. Медленно, до уровня плеча.

Михаил поднял руку.

Рука пошла легко и послушно, как ходила пятьдесят два года. На высоте ладони над простынёй она остановилась.

Не дрогнула. Не упала. Остановилась — и осталась висеть, и в мышце стояло усилие, ровное, направленное, продолжа-

ющеся усилие, которое не давало ей идти дальше.

Михаил надавил.

Рука задрожала и не сдвинулась.

— Боль? — спросил Вельский.

— Нет.

Боли не было. Было сопротивление — не спазм, не судорога, не мышечная слабость. У спазма нет намерения. У этого намерение было, и оно было терпеливым, и оно готово было ждать столько, сколько понадобится.

— Моторный сбой, — сказал Михаил. — Рассинхронизация. Отметьте и продолжим.

На терминале Ланской что-то изменилось.

— Александр Ильич, — сказала она очень тихо.

Вельский не отвёл глаз от руки.

— Кто остановил руку? — спросил он.

Вопрос был задан в пустоту палаты, никому, — и Михаил открыл рот, чтобы сказать: никто, это сбой, снимите показания, — и не успел.

Ответ пришёл раньше.

Он был коротким. Он был произнесён без голоса, в общем канале, там, где всю жизнь звучал один человек. Он не принадлежал Михаилу, и он не был чужим, и обе эти вещи были правдой одновременно.

Я.

Ланская отодвинулась от терминала на полшага.

— Две метки, — сказала она. — Две устойчивые метки

авторства. Обе с полным доступом к памяти.

На экране, спокойным шрифтом, каким система выводила всё:

Обнаружено конкурирующее самоописание. Подавление несогласованного контура через 3...

Ланская потянулась к клавиатуре.

— Софья, — сказал Вельский.

— Это протокол.

— Софья.

Ладонь Вельского легла на ручную отмену.

— Мы не знаем, что подавляем, — сказал он.

И нажал.

Отсчёт остановился. Автоматика отключилась. В палате стало очень тихо — той тишиной, которая наступает, когда выключают то, что гудело всё время, и все вдруг слышат, как громко это было.

Рука Михаила висела над простынёй.

На экране горели две метки.

Обе продолжали существовать.

ЧАСТЬ II. РАСХОЖДЕНИЕ

ГЛАВА 6. ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ

— Руднев Михаил Андреевич. Пятьдесят два. Судебный эксперт, фоноскопия. Жена — Лидия Сергеевна. Сегодня тридцатый день процедуры, приблизительно одиннадцать утра, палата семь. — Он перечислял ровно, глядя Вельскому в глаза, и следил за тем, чтобы моргать в естественном ритме. — Я в сознании. Я был в сознании всё это время. Я слышал ваш вопрос про руку.

— Что было до вопроса?

— Лидия прочитала фразу Аси. Ланская спросила, что это значит. Я объяснил. Лидия спросила, чего хотел я. Я ответил. — Он выдержал паузу ровно такую, какая была нужна. — Потом стало трудно говорить, и я договорил.

Всё это было правдой.

Он помнил каждую из тех секунд — не как провал, не как темноту, а как затруднённый участок дороги, который проезжаешь на пониженной передаче. Он не терял себя. Он не отсутствовал. Он был там, он говорил, он смотрел Лидии в лицо, и его никто не заменял, потому что заменять было некого: он всё это время был.

— Тошнота есть? — спросил Вельский.

— Нет.

— Пульс упал до пятидесяти четырёх, — сказала Ланская, не отрываясь от терминала. — Двадцать секунд назад.

Он этого не заметил.

Это было неприятно — не сам пульс, а то, что о собственном теле ему сообщили. Раньше он знал такие вещи изнутри, без приборов; сейчас пришлось поверить экрану.

Я знал.

Вот оно опять.

Он выдохнул и объяснил себе спокойно и точно, как объяснял бы коллеге: остаточная десинхронизация речевых и контрольных контуров, побочный эффект расширенной конвергенции, зафиксирован в литературе, проходит.

— Шум, — сказал он вслух. — Внутренний шум. Что-то не свёрнутое обратно после конвергенции.

Ланская подняла голову.

— Расширенное эхо, — сказала она.

Он отметил, как легко у неё вышел этот термин. Не «возможно, что-то вроде эха». Не «мы называем это условно». Готовое слово, лежавшее наготове.

— У вас есть название, — сказал он.

— У нас есть много названий.

Вельский поднял руку, останавливая обоих.

— Ещё раз. Медленно. Кисть левой.

Он поднял левую.

Кисть пошла и на середине встала.

Не судорога. Он уже знал, как это ощущается: усилие, направленное против него, терпеливое, никуда не спешащее.

— Это не я, — сказал он.

— Кто? — спросил Вельский.

— Я не знаю. Это не мой моторный импульс. Я его не отдавал, я его не хотел, и я не могу его отменить. — Он говорил ровно; сердце шло на ста двадцати, и он знал, что говорит ровно. — Александр Ильич, вы можете это подавить? Это мешает мне управлять телом.

Вельский не ответил.

— Софья Аркадьевна, — сказал он вместо этого. — Биологические контуры.

— Локальная активность не прекращалась, — сказала Ланская. — Ни в одной точке. Глобальный доступ падал, локальная работа шла. Она идёт и сейчас.

— То есть?

— То есть та часть, которая держит руку, — она посмотрела на них обоих, — ни на секунду не выключалась.

В палате стало тихо.

— Я не понимаю, чем вы удивлены, — сказал он. — Побочные эффекты описаны. Пациенты слышат возражения, ощущают чужие намерения. Каждый четвёртый.

— Мы не удивлены возражением, — сказала Ланская. — Возражения бывают всегда. Первое лицо бывает всегда. Мы не удивлены ничем из того, что оно делает.

— Тогда чем?

— Тем, что оно ещё здесь, — сказала она. — Обычно к этой минуте нечего подавлять.

Он попросил остановить конфликтующий процесс.

Он попросил это спокойно, как просят убрать помеху с записи, и, произнося, не почувствовал ничего, кроме облегчения от того, что наконец назвал проблему её именем.

* * *

Дверь открылась, и в палату вошёл внешний мир: холод с улицы в складках пальто, запах мокрой шерсти, чужого воздуха, чего-то живого.

Лидия остановилась в двух шагах от кровати.

Она смотрела на него так, как смотрят на здание после пожара — сначала целиком, потом по частям, потом опять целиком.

— Ты в пальто, — сказал он.

— Что?

— Ты в пальто. Ты его не снимаешь тридцать дней. Ты снимала один раз, на восемнадцатый, когда включили запись. — Он улыбнулся, и улыбка вышла та самая, немного набок, какой он улыбался ей все двадцать семь лет. — Лида. Сядь. Ты стоишь так, будто уходишь.

Лидия закрыла глаза.

— Миша... — сказала она.

Тело дёрнуло.

Плечо ушло вниз, кисть свело, и вся правая сторона напряглась разом — резко, зло, без всякой медицинской логи-

ки, и он не смог повернуть голову к ней, хотя хотел, хотя это было единственное, чего он хотел.

Она назвала не тебя.

Ясно. Отчётливо. С той же стороны, откуда приходило всё остальное.

Он ответил — не вслух, а туда, внутрь, впервые обращаясь к этому напрямую, и удивился, насколько это оказалось естественно:

Она назвала нас.

Нет.

Одно слово. Ни доводов, ни объяснений — одно слово, и в нём было столько же уверенности, сколько во всём, что он думал о себе сам.

Он лежал и держал лицо.

Он умел держать лицо; он делал это в судах двадцать шесть лет, и он делал это сейчас — ровное дыхание, спокойные глаза, никакой паники, потому что если Лидия увидит панику, она увидит болезнь, а не мужа.

— Всё хорошо, — сказал он ей. — Небольшой моторный конфликт. Врачи разберутся.

Лидия села. Руку она положила на покрывало, рядом с его рукой, но не на неё.

Он смотрел на её пальцы и думал, что до этой минуты внутри у него был чужой моторный импульс, шум, дефект синхронизации, техническая неисправность.

А теперь у этого появилось мнение о том, кого зовут Ми-

шей.

* * *

Показатели вывели на общий экран, потому что Вельский считал, что пациент имеет право видеть то, на основании чего его лечат.

Речевая связность: девяносто шесть. Автобиографическая интеграция: девяносто четыре. Эмоциональная атрибуция: восемьдесят девять. Прогностическая устойчивость: девяносто одна.

Вторая колонка была почти пустой. Речь — восемь. Автобиографическая интеграция — не измерена. Эмоциональная атрибуция — не измерена. Моторное влияние — сорок семь.

— По совокупности показателей, — сказал Вельский, — работаем так. Основной профиль пациента — вы. Второй источник обозначаем как контур М-2. Речевое время распределяется в соответствии с диагностической необходимостью.

— Что это значит практически?

— Практически это значит, что на вопросы отвечаете вы. Что согласие на манипуляции подтверждаете вы. Что если мы спрашиваем «как вы себя чувствуете», мы спрашиваем вас.

На боковой панели сменился цвет одного индикатора — с серого на белый. Больше ничего не произошло.

Он выдохнул. Впервые за два часа выдохнул до конца.

— Михаил Андреевич, — сказал Вельский. — Слушайте

внимательно. Это рабочее назначение. Это не заключение об оригинальности, не медицинский вывод и не юридический акт. Я не знаю, кто вы. Я знаю, что мне нужен один человек, с которым я разговариваю, пока я не пойму, с кем разговариваю.

— Понимаю.

Он понимал.

Он понимал и другое, чего Вельский не сказал: что решение принято через час после аварии, что второго они ещё ни о чём не спросили, что в графе «речь» у второго стоит восемь, потому что второму никто не давал говорить, — и что всё это уже неважно, потому что назначение состоялось.

Он ощутил стыд.

Стыд был короткий, честный, и он прошёл.

Правая рука начала подниматься.

Он её не поднимал. Она шла вверх, медленно, тяжело, преодолевая его собственное сопротивление, — и он держал её, и она всё равно шла, и вместе с ней пошло вверх что-то в горле, какое-то усилие, чужое, тщетное, упрямое усилие произнести.

Из горла вышел звук. Не слово. Согласная, застрявшая где-то между гортанью и языком, короткая и уродливая.

Ланская уже была у терминала.

— Он пытается говорить, — сказала она.

— Это спазм, — сказал он.

— Александр Ильич, он пытается говорить. Мне открыть

канал?

Вельский смотрел на руку, которая стояла в воздухе, дрожа от двух усилий сразу.

— Открывайте, — сказал он.

ГЛАВА 7. РЕЧЕВОЕ ОКНО

Ордынцева вошла без свиты, без планшета и без халата.

Она отодвинула к стене боковой экран, который стоял так, чтобы врачи видели показатели поверх головы пациента, взяла стул и села — не у изножья, а сбоку, ровно на уровне его глаз.

— Вера Дмитриевна Ордынцева. Нейропсихиатр. Я не сотрудник NEXUM. — Голос у неё был тёплый и совершенно не мягкий. — Как вас называть?

— Михаил Андреевич.

— Хорошо. — Она не стала уточнять. — Михаил Андреевич, я задам несколько простых вопросов и попрошу вас об одной вещи. Не отвечайте вместо него.

— Вместо кого?

— Вы понимаете, о ком я.

Он понимал.

— Я не отвечаю вместо, — сказал он. — Я знаю его мысли. Они приходят ко мне так же, как мои: без границы, без промежутка, изнутри. Если вы спросите, чего он хочет, я скажу точнее и быстрее любого прибора. Он хочет остановить процедуру, вернуть тело и считать себя мной.

— Возможно, всё это правда, — сказала Ордынцева. — И всё-таки вы не отвечаете вместо него. Вы имеете доступ к фрагментам. Это не то же самое, что право говорить за

человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.